

Ханна Арендт. "О Революции". Рус. пер. Игорь В. Косич

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ



пилигримы на борту "мэйфлауэра"

## ОСНОВАНИЕ I: CONSTITUTIO LIBERTATIS (основание свободы –лат.)

## I

Тот факт, что существовали люди в Старом Свете, мечтавшие о публичной свободе, как и то, что были люди в Новом Свете, вкушившие публичного счастья – таковы, в конечном счете, причины породившие движение за реставрацию древних прав и свобод, вылившееся в революцию по обе стороны Атлантики. И как бы далеко, в успехах и поражениях, не развели их события и обстоятельства, американцы всё же согласились бы с Робеспьером, что высшая цель революции – установление свободы. А задача революционного правительства – установление республики. Или, возможно, всё обстояло как раз наоборот, и это Робеспьер испытал влияние со стороны Американской революции, когда формулировал свои знаменитые "Принципы Революционного Правительства". Ибо в Америке за вооружённым восстанием колоний и Декларацией независимости последовал спонтанный процесс принятия конституций во всех тринадцати колониях – словно, по словам Джона Адамса, "тринадцать часов пробили как одни" – так что не было никакого разрыва, пробела, даже времени перевести дух между войной за освобождение и независимость, бывшей условием свободы, и трансформацией колоний в заново образованные штаты. И тогда как верно, что "первый акт великой драмы", "американская война за независимость", был сыгран куда быстрее, чем Американская революция (1), столь же верно, что эти две совершенно различные стадии революционного процесса, освобождение и новое основание, начались почти в один и тот же момент и продолжали идти параллельно друг другу на протяжении всех лет войны.

Значимость подобного направления развития вряд ли возможно переоценить. Чудо, если это действительно было чудо, спасшее Американскую революцию, состояло не в том, что колонии оказались достаточно сильны и могущественны, чтобы выиграть войну против Англии, но в том, что эта победа не завершилась появлением "множества отдельных государств, преступлений и бедствий ...; пока, наконец, истощенные провинции не оказались бы в рабстве под ярмом какого-нибудь удачливого завоевателя" (2), как того вполне обоснованно опасался Джон Дикинсон. Таков действительно был общий удел восстаний за которыми не следовала революция, и тем самым общий удел большинства так называемых революций. Если, однако, принять во внимание, что целью восстания

выступает освобождение, тогда как революции – основание свободы, то тогда представители политической науки по крайней мере будут знать, как избежать западни историка, который предпочитает выпячивать первую, насильственную стадию восстания и освобождения, борьбу против тирании, в ущерб второй, более спокойной стадии конституционных собраний; это происходит потому, что все драматические моменты истории кажутся ему содержащимися в этой первой стадии, и, возможно, также потому, что смута которой сопровождается освобождение столь часто ставила препоны революции. Куда опаснее этого пристрастия историка к драматизации теория, согласно которой конституция и конституционная лихорадка не только не выражает подлинно революционный дух страны, но обязана на деле силам реакции и либо ставят крест на революции, либо препятствуют её полному развитию. В соответствии с этой теорией, Конституция Соединённых Штатов, истинная кульминация всего революционного процесса, весьма часто оценивается как результат контрреволюции. В основе этого недоразумения лежит неспособность различить между освобождением и свободой; нет ничего более бессмысленного, чем восстание и освобождение не сопровождающиеся конституцией заново завоёванной свободы. Ибо “ни мораль, ни богатство, ни дисциплина армии, ни всё это вместе не могут обойтись без конституции” (Джон Адамс).

Однако даже если удержаться от соблазна поставить знак равенства между революцией и борьбой за освобождение, остаётся дополнительная, и в данной связи более серьёзная проблема, именно, что в форме или содержании новых революционных конституций было очень мало такого, что было бы просто новым, не говоря уже о революционном. Идея конституционного правления, конечно же, не коим образом не является революционной ни по своему содержанию, ни по происхождению; оно означает ни больше, ни меньше, как правление ограниченное законом и защиту гражданских прав посредством конституционных гарантий как те определялись различными биллями о правах инкорпорированными в новые конституции и зачастую рассматриваемыми как их наиболее важная часть. Однако эти билли никогда не предназначались для того, чтобы очертить завоёванную народом в революции власть, напротив, они полагались необходимыми дабы оградить от злоупотреблений властью любое, даже вновь основанное, правление. Билль о правах, как заметил Джефферсон, был тем “на что полномочен народ против любого правительства, будь то центральным или местным, и что ни одно правовое государство не должно отрицать или оставлять без внимания” (3).

Другими словами, в то время и по сей день конституционное правление остаётся ограниченным правлением в том смысле, в каком 18-й век говорил об “ограниченной монархии”, именно, монархии ограниченной в своей власти посредством законов. Гражданские права также как и частное благополучие гарантировались ограниченным правлением вне зависимости от его конкретной формы. Только тирания, оцениваемая в политической теории как “неправильная” форма правления, ставит себя над конституцией в смысле основанной на законе власти. Однако права, гарантируемые законами правового государства все имеют отрицательный характер, и это касается также и права представительства с целью налогообложения, в конечном счёте ставшего всеобщим избирательным правом. Они представляют собой в действительности “не власти как таковые, но лишь гарантии от злоупотреблений властью” (4); в них ещё не содержится никаких притязаний на участие в делах государства, но только право на защиту от него. В данном отношении не столь важно, будем ли мы выводить идею подобного конституционного государства из *Magna Charta* [*Magna Charta libertatum* - Великая хартия вольностей – лат. Грамота, значительно ограничившая королевскую власть, предоставленная восставшим английским феодалам, рыцарям и горожанам королю Иоанну Безземельному и подписанная им 15 июня 1215) - прим. наше - И. К.] и тем самым из феодальных прав, привилегий и пактов, заключённых между королевской властью и сословиями королевства, или же, напротив, признаем, что “нигде мы не обнаружим современного конституционализма до момента возникновения эффективного центрального правительства” (5). Если бы в повестке дня революций стоял лишь вопрос о такого рода конституционализме. То в таком случае дело обстояло бы так, словно революции остались верны своим первоначальным интенциям, когда они ещё могли быть восприняты как попытки реставрации “издревле гарантированных свобод”; истина, однако, в том, что дело обстояло как раз наоборот.

Существует и другая и, возможно, более веская причина, почему нам так нелегко признать подлинно революционный элемент в конституционном акте. Если ориентироваться не на революции 18-го века, но на ту серию восстаний и переворотов, что последовала за ними в 19-м и 20-м столетиях, то мы окажемся как бы перед альтернативой между "перманентными" революциями, не приведшими к принятию какой-либо конституции, и теми, где в результате революционных переворотов в конце концов возникло некоторое новое "конституционное" правление, гарантирующее больший или меньший объём гражданских прав и заслуживающее независимо от того, приняло ли оно форму реставрированной монархии или республики, не более чем названия ограниченного правления. Революции в России и Китае, где власть предрержащие не только признавали факт, но даже гордились тем, что им удаётся неопределённо долгое время поддерживать революционное правление, явно относятся к первому случаю; ко второму же принадлежат революции происшедшие почти во всех европейских странах после Первой Мировой войны, а также имевшие место во многих колониальных странах добившихся независимости от европейских правительств после Второй. В последних случаях конституции не коим образом не были результатом революции; напротив, они были навязаны после того, как революция потерпела поражение, и воспринимались населением данных стран как знак этого поражения. Обычно они являлись делом рук экспертов, однако не в том смысле, в каком Гладстон называл Американскую конституцию "самым удивительным произведением когда-либо созданным ... мозгом и волею человека", но скорее в том, в каком Артур Янг ещё в 1792-м отмечал, что французы заимствовали "новое слово", которое "они используют так, как если бы конституция была пудингом, который следует делать по рецепту"(6). Целью этих конституций было запрудить поток революции, и если они при этом также служили ограничению власти, то это касалось в первую очередь власти народа, проявление коей предшествовало их установлению, а уже во вторую власти правительства.

Одна, хотя, возможно, и немаловажная, трудность стающая на пути обсуждения подобного рода вопросов – чисто вербального плана. Не составляет секрета, что слово "конституция" обладает двумя смыслами, означая как сам акт конституирования, так и основной закон или правила правления, которые "конституированы" этим актом, независимо от того, запечатлены ли они в писанных документах или, как в случае Британской конституции, воплощены в институтах, обычаях и прецедентах. Очевидна невозможность называть одним и тем же именем и ожидать одинаковых результатов от тех "конституций", которые принимает нереволуционное правительство там, где народ и его революция оказались не в состоянии конституировать своё собственное правление, и теми другими "конституциями", которые либо, по выражению Гладстона, были "итоном прогрессивной истории" нации, либо же явились результатом сознательной попытки всего народа основать новый политический организм. Различение между этими двумя пониманиями наряду с их смешением особенно хорошо заметно в известном определении данном этому слову Томасом Пейном, в котором он только суммировал и осмыслил то, чему его научил процесс написания и принятия Американской Конституции: "Конституция не есть акт правительства, но народа конституирующего правительство" (7). Отсюда проистекает и потребность как во Франции, так и в Америке в учредительных собраниях и специальных конвентах, единственной задачей которых было подготовить проект конституции; отсюда также необходимость вернуться с этим проектом домой, к народу, и обсудить *Articles of Confederacy* [Статьи Конфедерации – англ. Название договора между 13 штатами Северной Америки, принятого 1 марта 1781-го и действующего в качестве временной конституции страны до 4 марта 1789-го], статью за статьёй, на городских собраниях, как позднее статьи Конституции – на конгрессах штатов. Ибо дело заключалось вовсе не в том, что местные конгрессы тринадцати штатов не могли надлежащим образом учредить правительства штатов, власть которых была бы должным образом ограничена, но в том, что положение "народ должен наделить правительство конституцией, а не наоборот" приобрело значение принципа конституционализма.

Что касается власти и авторитета, то достаточно беглого взгляда на участь конституционных режимов вне пределов англо-американских стран и сферы их влияния, чтобы ощутить огромную разницу между конституцией навязанной народу правительством, и конституцией, посредством которой народ конституирует свою собственную форму

правления. Составленные экспертами и навязанные европейским странам после Первой Мировой войны конституции основывались все в значительной степени на образце Американской Конституции, и, взятые сами по себе, они были сработаны вполне добротнo. И несмотря на это недоверие вызываемое ими у народа данных стран является установленным историческим фактом, как фактом было и то, что пятнадцать лет после низвержения монархического правления на европейском континенте более половины Европы жило при той или иной разновидности диктатуры; что же до остальных конституционных режимов, то за весьма характерным исключением Скандинавских стран и Швейцарии, они демонстрировали ту же самую прискорбную утрату властью авторитета и стабильности, что и приснопамятная Третья Республика во Франции. Ибо отсутствие власти и сопутствующая утрата авторитета были бичом почти всех европейских стран со времени отмены абсолютных монархий, а четырнадцать конституций Франции между 1789-м и 1875-м привели к тому, что ещё до лавины послевоенных конституций в 20-м веке, само слово "конституция" стало звучать издевательством. Наконец, можно вспомнить, что периоды конституционного правления были прозваны временами "системы" (в Германии после Первой Мировой войны и во Франции после Второй) – слово, каким народ окрестил такой порядок вещей, при котором коррупция, кумовство, закулисные махинации сделались альфой и омегой политики. Тем самым всякому нормальному человеку было обеспечено право исключить себя из этой "системы", ибо она даже едва ли была достойна, чтобы против неё восставать. Короче, сама по себе конституция ещё не благо, она, как говорил Джон Адамс, "есть стандарт, опора и скрепа когда её понимают, одобряют, любят. Однако без этого понимания и привязанности она может оказаться также мыльным пузырьём, парящим в воздухе" (9).

К этому различию между конституцией являющейся актом правительства и конституцией, посредством коей народ конституирует правительство, следует прибавить ещё одно отличие, которое хотя и тесно с ним связано, в то же время гораздо сложнее для понимания. Если и было что-то общее между создателями конституций 19-го и 20-го веков и их американскими предшественниками в 18-м столетии, то это было недоверие к власти как таковой, и это недоверие в Новом Свете было выражено, пожалуй, даже сильнее, нежели в старом. То, что человек по самой своей природе "не подходит для того, чтобы доверять ему неограниченную власть", что те, кто наделён властью легко могут обернуться "зверьми алчущими добычи", что государство необходимо для обуздания человека и его стремления к власти и, тем самым, (как о том писал Мэдисон) является "трезвой оценкой человеческой природы" – всё это в 18-м веке не менее чем в 19-м считалось общим местом, что же до "отцов-основателей", то эти истины были для них азами. Это недоверие к власти составляет подоплёку Билля о правах наряду с общим убеждением в абсолютной необходимости правового государства в смысле ограниченного законами правления. И всё же для развития событий в Америке это соображение не было решающим. Наряду с опасениями основателей насчёт чрезмерной власти правительства существовала также глубокая озабоченность относительно тех чрезвычайных опасностей для прав и свобод граждан, которые могут исходить не столько со стороны государства, сколько общества. Согласно Мэдисону, "огромную важность для республики имеет не только защита общества от угнетения со стороны власть предержащих, но также предохранение одной части общества от несправедливости со стороны другой части"; в первую очередь необходимо оградить "права отдельных лиц или меньшинства ... от направляемых интересами комбинаций большинства" (10). Именно это и ничто иное оправдывает конституирование публичной, правительственной власти, которая в республике не должна быть легитимирована чисто негативным образом как конституционно ограниченное правление, хотя европейские эксперты и специалисты в области конституционализма именно в этом усматривали главное достоинство Американской Конституции. То, что их восхищало в ней, и с точки зрения европейской истории вполне закономерно, это в действительности преимущества "мягкого правления", как оно исторически сложилось в истории Британии, и поскольку все пункты, относящиеся к этой теме были не только инкорпорированы во все конституции Нового Света, но и провозглашены в качестве неотчуждаемых прав всех людей, они оказались не в состоянии понять, с одной стороны, огромную, первостепенную важность акта основания республики и, с другой, тот факт, что действительным содержанием Американской Конституции было не гарантирование гражданских прав, но установление совершенно новой системы власти.

В этом плане факты относящиеся к Американской революции не оставляют никаких сомнений. Не конституционализм в смысле "ограниченного" в своей власти правового государства владел помыслами основателей. На этот счёт их согласие не требовало ни дискуссий, ни прояснения, и даже в дни, когда недовольство английским королём и Парламентом достигло наивысшего накала, они ни на минуту не забывали, что имеют дело с "ограниченной монархией, а не с абсолютным государем. Задача Декларации независимости состояла в действительности не в том, как ограничить власть, но как её установить, не как ограничить существующее правительство, но как основать новое. Конституционная лихорадка, охватившая страну после Декларации независимости предохранила от возникновения вакуума власти, а установление новой власти не могло зиждется на том, что всегда было по существу негативом власти – на билле о правах.

Не в Американской, но во Французской революции Декларация Прав Человека и Гражданина стала играть столь важную роль, и этим правам надлежало не указывать на границы, где кончается власть государства, но, напротив, служить самим фундаментом, на котором должно было быть возведено любое государство. Помимо того, что декларация "Все люди рождаются равными", исполненная подлинно революционной силы в стране, которая всё ещё оставалась сословной в своей социальной и политической организации, не имела подобной окраски в Новом Свете, существует ещё более важное отличие касающееся абсолютно нового акцента в перечне гражданских прав – отныне эти права торжественно провозглашались правами всех людей, вне зависимости от того, кто они и где живут. Это отличие вышло на свет когда американцы, хотя и переставали требовать от Англии обеспечения им "прав англичан", уже более не могли представлять себя как "нацию в жилах которой течёт кровь свободы" (Бёрк); даже наличие в их среде незначительного числа иммигрантов неанглийского и небританского происхождения было достаточно, чтобы напомнить им: "Англичанин ли ты, ирландец, немец или швед... ты имеешь право на все свободы англичан и на свободу предоставляемую этой конституцией" (11). Провозглашение прав человека означало для американцев только то, что те права, которыми дотоле обладали только англичане, в будущем должны стать правами всех людей (12) – другими словами, все люди должны жить при конституционном, "ограниченном" правлении. Провозглашение прав человека во Французской революции, наоборот, вполне буквально означало, что каждый человек в силу самого факта рождения становится обладателем определённых неотчуждаемых прав. Последствия этого смещения акцента огромны, причём в сфере практики не менее, нежели в теории. Американская версия в действительности провозглашает не более, как необходимость правового государства для всего человечества; французская же версия провозглашала существование прав по своей природе дополитических, тем самым уравнивая права человека *qua* (как –лат.) человека с правами гражданскими. В данной связи нет нужды останавливаться на противоречиях самой идеи прав человека, обсуждать причины прискорбной неэффективности всех деклараций, прокламаций и перечней прав человека. Основной их недостаток состоит в том, что они не могут не быть меньше нормальных прав гарантируемых государством своим гражданам, и что к ним обращались как за последним спасением те, кто по тем или иным причинам лишился своих гражданских прав (13). Нам же следует только избегать рокового заблуждения, подсказанного ходом Французской революции, будто провозглашение прав человека или гарантирование гражданских прав могут каким-то образом стать целью и содержанием революции.

Цель конституций штатов предваривших Конституцию Союза, вне зависимости от того были ли они подготовлены провинциальными конгрессами или конституционными ассамблеями (как в случае Массачусетса), заключалась в создании новых центров власти после того, как Декларация независимости отменила авторитет и власть английской короны и английского парламента. Для осуществления этой задачи создания новой власти основатели и люди революции мобилизовали целый арсенал того, что они сами называли "политической наукой", ибо политическая наука, по их собственным словам, состояла в попытке поиска "форм и комбинаций власти в республиках" (14). Хорошо зная о своей неосведомлённости в этой области, они обратились к истории. Собирая со скрупулёзностью граничащей с педантизмом все образцы, древние и современные, подлинные и мнимые, республиканских конституций. Однако то, что они пытались здесь обнаружить не имело никакого касательства к гарантиям гражданских прав – предмету, о котором они знали

много более чем кто-либо до них – но состояло исключительно в лучшем понимании природы власти и её основания.

В этом также кроется причина чрезвычайной притягательности Монтескьё, роль которого в Американской революции может быть уподоблена влиянию Руссо на Французскую. Действительно, основной темой главной работы Монтескьё изучаемой и цитируемой в качестве авторитета по всем конституционным и политическим вопросам по крайней мере за десятилетие до революции, была “конституция политической свободы” (15), однако слово “конституция” в данном контексте утратило все коннотации негатива, ограничения и отрицания власти; оно означало, напротив, что “величественный храм федеральной свободы” должен зиждется на фундаменте правильного комбинирования и сочетания власти. Именно потому, что Монтескьё, уникальный в этом отношении среди источников из которых основатели черпали свою политическую мудрость, утверждал неразрывность власти и свободы, что, переходя на понятийный язык, политическая свобода имеет исток не в “Я хочу”, но в “Я могу”, и что тем самым политическое пространство должно быть сконструировано и конституировано таким образом, чтобы в нём власть и свобода сочетались бы, к имени его взывали практически во всех конституционных дебатах. (16) Монтескьё подтвердил то, что основатели изучили на опыте колоний, а именно, что свобода есть не что иное, как “естественная способность или власть (power) делать или не делать то, что мы “хотим”. И когда в документах ещё колониальных времён мы читаем, что “избранные депутаты должны обладать *властью и свободой* назначения”, то мы и сейчас можем ощутить, насколько естественным для тех людей было употреблять эти два слова почти как синонимы. (17)

Общеизвестно, что ни один вопрос не занимал большего места в этих дебатах, нежели вопрос разделения или баланса властей, так же как не подлежит сомнению, что идея подобного разделения не была открытием одного Монтескьё. Сама по себе эта идея, не имеющая ничего общего с механистическим, ньютоновским воззрением на мир (как то не так давно пытались представить) весьма стара; она возникает, по крайней мере в неявной форме, в традиционных спорах о смешанных формах правления и тем самым может быть прослежена уже у Аристотеля или, во всяком случае, Полибия, который, возможно, и был первым кто знал о некоторых достоинствах присущих системе взаимных checks and balances (англ.), “сдержек и противовесов”. Монтескьё же, судя по всему, был не в курсе всех этих предшествующих изысканиях в данной области; он ориентировался на то, что по его мнению было особенностью английской конституции, вопрос же о том, верно он интерпретировал эту конституцию или нет, не представляет сегодня (как, впрочем, уже и в 18-м веке) никакой важности. Ибо открытие Монтескьё затрагивает природу власти как таковой, и столь разительно контрастирует со всеми традиционными представлениями по этому поводу, что было почти забыто, невзирая на то, что основание республики в Америке было в значительной степени вдохновлено им.

Открытие это, заключённое в одном предложении, расшифровывает забытый принцип лежащий в основе всей структуры разделённых властей: что только\*, власть сдерживает власть, т. е., должны прибавить мы, не разрушая её, не ставя бессилие на место силы (18). Ибо власть, конечно, может быть разрушена насилием; именно это имеет место в тираниях, где насилие одного разрушает силу многих, в результате чего они, согласно Монтескьё, разрушаются изнутри; тирании погибают оттого, что порождают бессилие вместо власти. Однако власть, вопреки нашему ожиданию, не может быть сдержана, во всяком случае, надёжно, законами, поскольку так называемая единоличная власть правителя, ограничиваемая и контролируемая в конституционном, на законах основанном правлении, на самом деле не власть, которая имеет место только там, где есть многие, но монополия на насилие. Законам же, с другой стороны, всегда угрожает власть многих, и в конфликте между законом и властью закон редко выходит победителем. Однако даже если допустить, что закон сам по себе в состоянии сдерживать власть – и на этом допущении должны основываться все истинно демократические формы правления коль скоро не хотят выродиться в худшую, основанную на крайнем произволе, тиранию – ограничение налагаемое законом на власть может обернуться упадком в её силе и эффективности. Власть может быть ограничена и при этом сохранить свою силу только властью, и тем самым принцип разделения власти не только обеспечивает гарантию против

монополизации власти одной частью государственного аппарата, законодательной или исполнительной, но в действительности устанавливает равновесие, делающее возможным генерирование новой власти, которая в то же время лишена возможности разрастись и расшириться в ущерб всем остальным центрам или источникам власти. Известная мысль Монтескьё, что даже добродетель нуждается в ограничении и что избыток разума нежелателен, возникает в его размышлении о природе власти (19); причина этого в том, что добродетель и разум он рассматривает как политические факторы, как силы, а не как простые способности, в результате чего их сохранение и усиление должно отвечать тем же условиям, что и отвечают за сохранение и усиление власти. Очевидно, что Монтескьё требовал их ограничения вовсе не потому, что хотел меньше добродетели и меньше разума.

Факт, что разделение власти делает государство более сильным, нежели её централизация, потому так часто остаётся незамеченным, что мы представляем это разделение власти только в рамках разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Однако главной задачей основателей было установить единства тринадцати "суверенных", легальным образом конституированных республик – e pluribus unum [из многих – единое – лат. Девиз Соединённых Штатов], не лишив их силы. Её решением сперва было основание "конфедеративной республики", посредством которой в согласии с Монтескьё надеялись примирить преимущества монархии во внешних делах с достоинствами республиканизма во внутренних (20). Чрезвычайно важно, что в задаче установления новых центров власти в стране посредством создания Союза, которая могла быть решена и в конечном счёте была решена путём принятия Конституции, вопрос о гражданских правах имел значение только в той мере, в какой они могли содействовать гарантии её сохранения. Главная же цель Конституции заключалась в возведении системы властей которые сдерживали и уравновешивали бы друг друга таким образом, чтобы сила ни союза, ни его частей – штатов – не ослабила целого и не подорвала бы одна другую

Можно только удивляться, с какой тщательностью следовали они этому аспекту учения Монтескьё в дни основания республики. На уровне теории наиболее глубоким последователем Монтескьё был Джон Адамс, вся политическая мысль которого была сконцентрирована на вопросе о балансе властей. И когда он писал: "Власти должна противостоять власти, силе – сила, мощи – мощь, интерес – интересу, также как разум – разуму, красноречие – красноречию и страсти – страсть", он определённо считал, что обрёл в союзе это противопоставление средство как сделать власть более властной, силу более сильной, разум более разумным, а не как уничтожить их (21). Что касается практики и создания политических институтов, то лучше всего обратиться к аргументации Мэдисона относительно разделения и равновесия власти между федеральным правительством и правительствами штатов. Полагаясь он на расхожие идеи о неделимости власти, что разделённая власть есть меньшая власть (22), он пришёл бы к выводу, что новая власть союза должна быть основана на власти, которую уступили, делегировали штаты, таким образом, что чем сильнее был бы союз, тем слабее должны были стать его составные части. Его же подход заключался в том, что само установление Союза основало новый источник власти, который не коим образом не извлекает свою силу из власти штатов, поскольку не установлен за их счёт. Так, он настаивал: "Не штаты должны уступить свою власть национальному правительству, но скорее власть центрального правительства должна быть существенно расширена... Оно должно быть учреждено в качестве сдержки, контроля за отправлением правительствами штатов той значительной власти, которая остаётся в их распоряжении" (23). Тем самым, "если бы правительства отдельных штатов вдруг оказались упразднены, центральное правительство ради собственного самосохранения вынуждено было бы восстановить их в соответствующей юрисдикции". (24)

В этом отношении великим и в длительной перспективе, возможно, величайшим достижением Американской революции было последовательное устранение притязаний власти на суверенитет в политическом организме республики, поскольку в сфере политики в конечном счёте суверенитет и тирания одно и то же. Изъяном Конфедерации как раз и было отсутствие "разделения власти между центральным и местными правительствами"; правительство в Вашингтоне действовало скорее как высшая инстанция альянса, нежели

как правительство. Опыт показал, что подобного рода альянс таит в себе опасную тенденцию для вступивших в него – вместо того, чтобы поддерживать, гарантировать и одновременно сдерживать, власти нейтрализовали и парализовали друг друга, т. е. порождали бессилие. (25) Чего на практике опасались основатели, так это не власти, но бессилия, и их опасения подтверждались взглядом Монтескьё, высказанным в главе чаще других цитируемых в их дискуссиях, что республиканское правление эффективно только на относительно небольших территориях. Тем самым обсуждение сворачивало на вопрос о самой жизнеспособности республиканской формы правления, и Гамильтон и Мэдисон обратили внимание на другую идею Монтескьё, согласно которой объединение республик способно решить проблемы больших стран при условии, что составляющие тела – небольшие республики – не удовлетворяясь простым альянсом, были в состоянии образовать новый политический организм, федеративную республику. (26)

Чтобы понять Американскую Конституцию, необходимо помнить, что её подлинной целью было не ограничить власть, но создать больше власти, надлежащим образом конституировать и поставить на место Конфедерации совершенно новый центр власти, призванный компенсировать новообразованной республике обладающей большой и к тому же расширяющейся территорией, власть и авторитет утраченный в результате отделения колоний от английской короны. Эта сложная и тонкая система, намеренно задуманная для того, чтобы сохранить в неприкосновенности потенциал власти в республике и предохранить от оскудения любой из многочисленных источников власти на случай дальнейшего расширения, "увеличения путём присоединения новых членов", явилась целиком детищем революции. (27) Американская Конституция в итоге консолидировала власть народа освобождённую посредством революции, и так как целью революции была свобода, она на деле стала тем, что Бракотон назвал *Constitutio Libertatis* (лат), основанием свободы.

Полагать, будто недолговечные конституции послевоенной Европы или их предшественницы в 19-м веке, обязанные своим существованием недоверию к власти в целом и страху перед революционной властью народа в частности, способны конституировать ту же форму правления, что и Американская Конституция, возникшая из уверенности, что она открыла принцип власти достаточно сильный для создания "долговечного союза", значит принять желаемое за действительное.

## II

Сколь бы досадны не были эти недоразумения, они не случайны и потому не могут быть оставлены без внимания. Они бы не возникли, если бы не тот исторический факт, что революции начались как реставрации, и что действительно было не просто, особенно для самих людей революций сказать когда и почему попытка реставрации вылилась в неодолимый поток революционных событий. Так как их первоначальной интенцией было не основание свободы, но всего лишь возвращение прав и свобод ограниченного правления, совершенно естественным было, что столкнувшись теперь уже с задачей основания республики, люди революции предпочитали говорить о новой свободе, рождённой в процессе революции, как о состоящей не более чем в обладании древними правами и свободами.

Нечто весьма сходное имело место и по отношению к другим ключевым понятиям, в первую очередь к тесно взаимосвязанным понятиям власти и авторитета. Ранее мы уже констатировали, что ни одна революция не происходила и редкое восстание начиналось до тех пор пока авторитет политической системы оставался незыблем. Так, с самого начала возвращение древних свобод сопровождалось реставрацией прежнего авторитета и прежней власти. Подобно тому, как древняя идея "прав и свобод" в результате попытки их реставрации начала оказывать сильное влияние на осмысление нового опыта свободы, так и старое понимание власти и авторитета, даже при том, что ранее их олицетворявшие были развенчаны и низложены, почти автоматически вело к тому, что этот новый

революционный опыт отливался в традиционные понятия. Именно этот автоматизм дал историкам возможность узреть преемственность там, где истории полагалось сделать скачок: "Нация заняла место то абсолютного монарха" (Ф. У. Мейтленд), после того, однако, как сам монарх "занял место Папы и Епископа"; и в этом церковно-религиозном истоке абсолютизма кроется причина, почему "современное абсолютное государство, даже при отсутствии монарха способно выдвигать притязания подобающие только Церкви" (28).

С исторической точки зрения, самое очевидное и самое значительное различие между Американской и Французской революциями состояло в том, что первая получила в наследство "ограниченную монархию", тогда как вторая унаследовала абсолютизм восходивший к первым векам новой эры и последним векам Римской Империи. Ничто, в самом деле, не представляется более естественным, чем то, что революция должна быть предопределена тем типом правления, который она ниспровергает. Ничто, следовательно, не обладает большим правдоподобием чем объяснение нового абсолюта, абсолютной революции, предшествовавшие ей абсолютной монархией, из чего вроде бы напрашивается вывод, что чем более абсолютным является правитель, тем более абсолютной будет смещающая его революция. История как Французской революции 18-го века, так и скопированной с её образца Русской в 20-м – лишь наиболее характерные примеры подтверждающие справедливость этой теории. Что, как не простую подстановку суверенитета нации на место оставленное суверенным монархом проделали многие, в их числе даже Сиейес? Для него не было ничего естественней, чем поставить нацию над законом, поскольку суверенность французского короля уже давно перестала означать независимость от феодальных договоров и обязательств и, по крайней мере со времён Бодена, означала подлинную абсолютность королевской власти, *potestas legibus soluta*, (лат.), власть свободную от соблюдения законов? И поскольку персону короля была не только источником всей земной власти, но и воля его – истоком всего земного права, воля нации с этого момента, само собой разумеется, должна была сама стать правом (29). На этот счёт люди Французской революции были столь же едины, сколь люди Американской были едины в вопросе о необходимости ограничить правительство посредством законов. И подобно тому, как теория Монтескье о разделении властей стала аксиомой для американской политической мысли поскольку она отвечала требованиям английской конституции, так и идея "Общей Воли" Руссо, поскольку она представляла множество (нацию) по образцу одного лица и тем самым давала возможность поставить её на место суверенной воли абсолютного монарха, стала аксиомой для всех фракций и партий Французской революции. Суть дела заключалась в том, что в абсолютной, в отличие от конституционной, монархии, король не только олицетворял жизнь нации в целом – "король мёртв – да здравствует король" в действительности означало, что король сам по себе воплощает нечто бессмертное" (30); он также воплощал на земле божественный источник в котором закон и власть совпадали. Его воля, поскольку она якобы представляла волю Бога на земле, была истоком и закона, и власти, и именно это происхождение из единого источника делало закон властным, а власть законной. Следовательно, когда люди Французской революции поставили народ на место короля, для них совершенно естественным образом народ становился не только источником всякой законной власти, что само по себе находилось в соответствии с древней римской теорией, но также и истоком всех законов.

Что на долю Американской революции выпала редкостная удача, не подлежит сомнению. Она произошла в стране которая не знала массовой бедности и люди которой имели вековой опыт самоуправления; конечно же, не последнее место в числе этих преимуществ занимало и то, что революция выросла из конфликта с "ограниченной монархией". Правление короля и парламента не было *potestas legibus soluta*, властью не подчиняющейся законам. Поэтому создатели американских конституций хотя и знали, что им надлежит установить новый источник закона и разработать новую систему власти, никогда не пытались вывести закон и власть из одного источника. Седалищем власти был для них народ, однако источником закона должна была стать Конституция, писанный документ, нечто объективное, который, конечно же мог рассматриваться со многих различных сторон и по отношению к которому были возможны множество интерпретаций, который можно было изменять и улучшать в соответствии с обстоятельствами, но который тем не менее никогда не был субъективным состоянием ума, подобно так называемой воли

народа, выражающей себя в выборах и опросах общественного мнения. Даже когда в сравнительно позднее время и, предположительно, под влиянием континентальной конституционной теории, верховенство Конституции обосновывалось "исключительно на основании её укоренённости в воле народа", было принято считать, что раз решение принято, оно остаётся обязательным для политического образования, коему оно дало жизнь (31). И даже если и существовали люди, полагавшие, что в свободном государстве народ должен сохранять право "в любое время, по любому поводу или без повода, но по своему суверенному соизволению, изменить или отменить как характер, так и форму любого правления и принять новое на его место" (32), они остались довольно одинокими фигурами в высшем законодательном органе. То, что во Франции было подлинной политической или даже философской проблемой, в Америке приняло такую откровенно вульгарную форму, что оказалось дискредитированным ещё до того, как кто-либо удосужился сделать из этого теорию. Ибо, хотя в тех, кто ожидал от Декларации независимости "форму правления, где каждый, будучи независимым от богатых, смог бы делать всё что ему заблагорассудится" никогда не было недостатка (33), они не оказали никакого влияния на теорию и практику революции. И всё же, сколь бы не велика была удача Американской революции, её не миновала самая сложная из всех проблем сопряжённых с революционным правлением: проблема абсолюта.

Что проблема абсолюта обязана возникнуть в революции, что она присуща самому феномену революции, мы, возможно, никогда бы и не узнали, не будь Американской революции. Если бы мы судили исключительно на примере европейских революций: гражданской войны в Англии 17-го века, Французской революции 18-го и Октябрьской 20-го, то располагали бы столь значительным количеством исторических фактов единодушно указывающих на взаимосвязь абсолютных монархий и наследующих им деспотических диктатур, что пришли бы к заключению об обусловленности проблемы абсолюта в сфере политики исключительно неблагоприятным историческим наследием, абсурдностью абсолютной монархии, имплантировавшей абсолюта в виде персону государя в политический организм, абсолюта, которому впоследствии революции ошибочно и безуспешно пытались отыскать замену. Действительно, возникает соблазн возложить вину на абсолютизм, предшественника всех революций, за исключением Американской, за то, что его падение разрушило всю европейскую политическую структуру заодно с европейским политическим сообществом наций, и что пламя революционного пожара, вызванного злоупотреблениями *anciens régimes*, в конечном счёте объяло весь мир. Сегодня уже не столь важно, был ли этот новый абсолюта, предназначенный на место абсолютного суверена, нацией Сиейеса в начале Французской революции, или же он стал вместе с Робеспьером в итоге четырех лет революционной истории самой революцией. Ибо в конечном счёте повергла весь мир в огонь именно комбинация этих двух, революции и национализма, национальные революции или революционный национализм, национализм говорящий на языке революции или революции пробуждающие массы националистическими лозунгами. И ни в одном из случаев ход Американской революции не был когда-либо воспроизведён или повторён. Создание конституции никогда более не понималось как наипервейшее и наиважнейшее из всех революционных дел и революционное правление, если оно вообще где-либо возникало, тут же оказывалось под угрозой быть сметённым тем самым революционным движением, которое привело его к власти. Не конституции, конечный продукт и изначальная цель всех революций, но революционные диктатуры, призванные ускорить и интенсифицировать революционное движение, были до сих пор наиболее знакомым результатом современных революций – в том случае, конечно, когда революция не терпела поражение и не сменялась той или иной разновидностью реставрации.

Ошибка всех подобных исторических построений, сколь бы обоснованными они не были, заключается в принятии за самоочевидное того, что при более пристальном рассмотрении оказывается в высшей степени проблематичным. Европейский абсолютизм в теории и практике, абсолютный суверен, воля которого является одновременно источником и власти, и закона, был относительно новым феноменом; он выступал первым и наиболее характерным последствием того, что мы называем секуляризацией, конкретно, эмансипации секулярной власти от авторитета Церкви. Абсолютная монархия, обычно и весьма обоснованно рассматриваемая как подготовка национального государства, была

к тому же ответственна за возвышение секулярной мирской сферы обладающей своим собственным достоинством и величием. Столь же краткая, сколь и бурная история итальянских городов-государств, духовная близость которых с революциями Нового времени состоит в общей привязанности к дохристианской античности, могла бы служить предсказанием и предостережением тех перспектив и тех проблем, которые ожидали Новое время в области политики, в случае, конечно, что такие предсказания и предостережения вообще возможны в истории. Вдобавок, именно расцвет абсолютизма на века скрыл от глаза эти проблемы ибо, казалось, он обрёл в самой сфере политики полностью удовлетворительную замену утраченной религиозной санкции мирской власти в персоне короля или скорее в институте королевской власти. Однако это решение, которое весьма скоро революции разоблачили как псевдорешение, только скрывало на протяжении нескольких веков самую серьёзную проблему для всех современных систем правления: их кардинальную нестабильность, являющуюся результатом элементарной утраты авторитета.

Та особенная санкция, которую религия и религиозный авторитет даровали секулярной сфере, не могла быть заменена абсолютным суверенитетом, который, не обладая трансцендентным и внемирским и внемирским источником, должен был сразу же вырождаться в тиранию и деспотизм. Истина состоит в том, что когда абсолютный монарх "занял место Папы и Епископа", он по этой самой причине более не выполнял религиозную функцию и не получал санкцию Папы и Епископа. На языке политической теории, он был не преемником Папы и Епископа, но узурпатором, и все теории с начала Нового времени относительно суверенитета и божественных прав государей служили только тому, чтобы скрыть этот факт. Секуляризация, эмансипация секулярной сферы от опеки Церкви, неизбежно выдвинула проблему основания и конституирования нового авторитета, без коего мирская сфера не только не приобрела бы своего собственного нового достоинства, но и лишилась бы даже того производного значения, которым она обладала под духовным покровительством Церкви. Выражаясь теоретически, дело обстояло так, как если бы абсолютизм пытался разрешить эту проблему авторитета на прибегая к революционным средствам нового основания; другими словами, он решил эту проблему в привычной системе координат, в которой легитимность правления, в общем, и авторитет секулярного права и власти, в частности, всегда обосновывались путём отнесения их к абсолютному источнику который сам был не от мира сего. Революции, даже если над ними не тяготело наследие абсолютизма, как в случае Американской революции, всё ещё оставались в рамках традиции, в значительной части основанном на событии, когда "слово стало плотью", иначе говоря, на откровении абсолюта в историческом времени в качестве земной, мирской реальности. Именно в силу земной природы этого абсолюта авторитет как таковой стал невыносим без того или иного рода религиозной санкции. И так как задача революций состояла в установлении нового авторитета, лишённого помощи обычая, прецедента и ореола древности происхождения, они не могли не поставить с беспрецедентной остротой старую проблему: не права и власти *per se* (самих по себе – лат.), но источника права, который дал бы позитивному праву свою легальность, и истока власти, который придал бы легитимность учреждаемым властям.

В дискуссиях о секуляризации обычно предпочитают не замечать того огромного значения, какое утраченная санкция религии имела для мирского авторитета. И это вполне понятно, ибо возникновение автономной мирской сферы, бывшее неизбежным результатом разделения церкви и государства, эмансипации политики от религии, как казалось, произошло исключительно за счёт религии; из-за секуляризации Церковь утратила значительную долю своих мирских богатств и, что ещё более важно, лишилась протекции мирской власти, И всё же фактом остаётся, что секуляризация коснулась обеих, и так же как говорят об эмансипации мирского от религиозного, можно говорить, и, возможно, даже с большим основанием, об эмансипации религии от требований и бремени секулярного мира, которое тяжкой ношей лежало на Христианстве с той поры как распад Римской Империи вынудил Католическую Церковь возложить на себя политическую ответственность. Ибо "истинная религия", как однажды заметил Уильям Ливингстон, "не нуждается в государях мира сего для своей поддержки; но она чахнет или изменяет самой себе там, где они вмешиваются в её дела" (34). Многочисленные трудности и проблемы теоретического и практического плана, которые стали перед политикой с самого момента секуляризации, тот самый факт, что первым последствием этой секуляризации было

становление абсолютизма и что революции, пришедшие ему на смену, ничего не искали с большим рвением, как абсолюте, из которого могли бы быть выведены легальность закона и легитимность власти, способны навести на вывод, что политика и государство нуждаются в санкции религии даже более чем религия и Церковь в поддержке государей.

Потребность в абсолюте заявила о себе различными путями, принимала различные обличья и получала различные решения. Функция же его в области политики, однако, всегда оставалась неизменной: он был необходим для того, чтобы разорвать два порочных круга, первый из которых, как кажется, неотъемлем от человеческого законодательства, тогда как второй заключён в *petitio principii* (предвосхищение основания – лат.; логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной посылки для доказательства), сопровождающем новое начинание, или, переводя на язык политики, присутствием самой задаче основания. Первый, порождённый потребностью всех позитивных, человеком созданных законов во внешнем источнике, который даровал бы им легальность и возвысил в качестве “высшего закона” сам законодательный акт, конечно же, хорошо известен и заявил о себе уже в период формирования абсолютной монархии. То, что Сиейес утверждал по отношению к нации: что “было бы смешно предполагать что сама нация связана какими-то формальностями или тою самою конституцией, которой она подчиняет своих уполномоченных” (35), с не меньшим основанием может быть отнесено и к абсолютному государю, который действительно, подобно нации Сиейеса, должен “быть источником всякой законности”, “основой справедливости”, и по этой причине не может выступать субъектом каких-либо позитивных законов. Ни по какой другой причине уже Блэкстон утверждал, что “абсолютная деспотическая власть должна в той или иной мере присутствовать во всех правлениях” (36), чем становится ясно, что эта абсолютная власть становится деспотической коль скоро она эмансипировалась от власти высшей, нежели она сама – всевластного Бога. Весьма показательно, что Блэкстон называет эту власть деспотической, и это служит ясным указанием на то, в какой мере абсолютизм освободил себя, однако не столько от подвластного ему политического порядка, сколько от божественного или естественного порядка, которому он оставался подчинённым до Нового времени. И тогда как верно, что революции не “придумывают” проблемы мирской политической сферы, столь же верно, что с их наступлением, т. е. с возникновением необходимости в новых законах и конституциях, закладывающих фундамент нового политического организма, все старые “решения” – такие как надежда, что функции “высшего закона” способен взять на себя обычай в силу “трансцендентального качества”, присущего ему по причине “глубокой древности” (37), или же упование на то, что высокое положение монарха само по себе способно придать государственному аппарату ореол святости, как это звучит в часто цитируемой похвале Баджота британской монархии: “Английская монархия усилила наше правление силой религии” – на поверку оказываются скомпрометированными как дешёвые увёртки и уловки. Это обнажение сомнительной природы государства в Новое время происходит со всей серьёзностью только тогда и там, где в конечном счёте разражались революции. Однако на уровне мнения и идеологии оно распространилось ещё ранее, разделив стороны на радикалов, признающих факт революции без понимания её проблем, и консерваторов, уцепившихся за традицию и прошлое как за фетиши, с помощью которых можно заклинать будущее, без понимания того, что само явление революции на политической сцене со всей наглядностью продемонстрировало, что эта традиция лишилась своей силы, своего начала и принципа.

Сиейес, которому в области теории не было равных среди людей Французской революции, разорвал этот порочный круг и *petitio principii*, о котором он говорил весьма красноречиво, сначала проведя своё знаменитое различие между *pouvoir constituant* (власть конституирующая (уполномочивающая) – фр.) и *pouvoir constitué* (власть конституируемая (уполномоченная) – фр.) и затем выведя эту *pouvoir constituant* т. е. нацию вообще за пределы сферы политики и поместив её в неизменное “естественное состояние”. (“On doit concevoir les Nations sur la terre, comme des individus, hors du liens social ... dans l'état de nature” – “Нации подобны отдельным личностям вне социальных связей, находящимся в естественном состоянии” - фр.). Тем самым он одним махом, по-видимому, решил обе проблемы: как проблемы легитимности новой власти, *pouvoir constitué*, авторитет которой не может быть гарантирован Учредительным собранием, *pouvoir constituant*, поскольку его власть сама не конституционна и никогда не могла быть таковой, ибо предшествовала

самой конституции, так и проблему легальности новых законов, нуждавшихся в "источнике и верховном господине", "высшем законе", из которого они бы производили свою законность. И власть, и закон, брали начало в нации или, точнее, в воле нации, которая сама оставалась вне и над всеми правлениями и законами (38). Конституционная история Франции, где ещё в годы революции одна конституция следовала за другой в то время как власть предрержащие могли провести в жизнь лишь ничтожную часть своих революционных законов и декретов – лишь ещё одна иллюстрация того, что должно было быть ясно с самого начала, а именно, что так называемая коллективная воля (если это вообще не юридическая фикция) неустойчива по определению, и что постройка возведённая на подобном фундаменте покоится на зыбком песке. От немедленного коллапса и катастрофы национальное государство спасла лишь та необычная лёгкость, с какой национальная воля позволяет собой манипулировать и поддается влиянию где бы не отыскался желающий взять на себя бремя и славу диктатора. Диктатура – режим как нельзя лучше соответствующий сути национального государства. Наполеон Бонапарт был всего лишь первым в длинном ряду национальных диктаторов, кто под аплодисменты всей нации мог заявить "Je suis le pouvoir constituant" ("Уполномочивающая власть – это я" – фр.). Однако в то время, как диктат одной воли лишь на короткие периоды достигал фиктивного идеала национального государства – единодушной воли народа – не воля, а интерес, прочная структура классового общества, составляла подлинную основу национального государства. И этот интерес *intérêt du corps* (корпоративный, групповой интерес – фр.), как его именовал Сиейес, ради которого не гражданин, но частное лицо "объединяется с другими в небольшие группы" – никогда не был выражением воли, но, напротив, являлся манифестацией мира или скорее тех частей мира, которые были общими для определённых групп, *corps* или классов поскольку "были между" ними.

С точки зрения теории легко заметить, что решение Сиейесом парадоксов основания: установления новых законов и основания нового политического организма, не завершилось и не могло завершиться установлением республики в смысле "господства законов, а не людей" (Харрингтон), но заменило монархию, власть одного, демократией, властью большинства. Сегодня нам трудно оценить, насколько существенно было это смещение акцента с республиканской на демократическую форму правления, поскольку мы обычно не отличаем господство большинства от решения большинства. Последнее, однако, есть не более чем технический приём принятый практически во всех типах совещательных органов, будь то предвыборные собрания избирателей или же *town-hall meetings*, или же назначенный правителем государственный совет. Другими словами, принцип большинства присущ самому процессу принятия решений и тем самым присутствует во всех формах правления, включая деспотизм, за возможным исключением одной тирании. Только там, где большинство после того как решение принято приступает к политическому, а в крайнем случае и физическому, устранению находящегося в оппозиции меньшинства, технический приём решения большинства становится принципом господства большинства (40). Эти решения, конечно же, могут пониматься как выражения воли, и никто не станет оспаривать, что в современных условиях политического равенства в этом большей частью и заключается политическая жизнь общества. Существенным, однако, является то, что в республиканской форме правления политическая жизнь протекает и такие решения принимаются в рамках и в соответствии с регуляциями конституции, которая зависит от национальной воли большинства не более, чем здание зависит от воли его архитектора или обитателей. Первостепенное значение, придаваемое во время революций по обе стороны Атлантики конституциям как писаным документам более чем что-либо свидетельствует об их элементарно объективном, мирском характере. В Америке, во всяком случае, они разрабатывались в недвусмысленном и сознательном намерении предотвратить, насколько это в человеческих силах, процедуры принятия решений с их принципом большинства от вырождения, деградации в "*elective despotism*" (англ.), "деспотизм основанный на выборах" демократии, власти большинства.

### III

Злой рок Французской революции в том, что ни одно из конституционных собраний не располагало достаточным авторитетом для того, чтобы дать стране конституцию; упрёк, справедливо адресуемый им, всегда один: они сами не были конституционно оформлены. С

теоретической точки зрения, роковая ошибка людей революции состояла в некритической вере в происхождение власти и закона из одного и того же источника. И, наоборот, огромной удачей Американской революции было то, что народ колоний ещё до конфликта с Англией был организован в самоуправляющиеся общества, группы, что революция, говоря на языке 18-го века, не отбросила их в естественное состояние (42), что никогда серьёзно не оспаривалась правильность *pouvoir constituant* тех, кто вырабатывал конституции штатов и затем Конституцию Соединённых Штатов. То, что Мэдисон предлагал по отношению к Американской Конституции, а именно, вывести её "общий авторитет ... целиком и полностью из нижестоящих авторитетов" (43), было лишь воспроизведением в национальном масштабе того, что было проделано самими колониями, когда они конституировали правительства своих штатов. Делегаты местных конгрессов или народных конвентов, подготовившие проекты конституций штатов, получили свои полномочия от многочисленных нижестоящих авторитетных органов: округов, районов, городских и сельских общин. Не дать ослабнуть их власти значило сохранить в неприкосновенности источник их собственного авторитета. Будь Федеральный Конвент избран не для того, чтобы создать и конституционно оформить новую федеральную власть, но с тем, чтобы урезать и упразднить власть штатов, основатели немедленно столкнулись бы с теми же проблемами, что и их французские коллеги; они лишились бы своей *pouvoir constituant*. И в этом, вероятно, крылась одна из причин, почему даже самые убеждённые сторонники сильной центральной власти не хотели полного упразднения правительств штатов (44). Федеративная система не только являлась единственной альтернативой принципу национального государства; она была также единственным путём избежать порочного круга *pouvoir constituant* и *pouvoir constitué*.

Тот поразительный факт, что Декларации независимости предшествовала, сопровождала её и последовала за ней конституционная лихорадка во всех тринадцати штатах, внезапно обнаружил до какой степени совершенно новое понимание власти и авторитета, совершенно новое представление о политике уже развилось в Новом Свете, даже хотя его обитатели изъяснялись и мыслили на языке Старого и обращались к тем же источникам за вдохновением и подтверждением своих теорий. Что отсутствовало в Старом Свете, так это *townships* (англ.), городские и сельские общины и, глазами европейского наблюдателя, когда "произошла Американская революция, догмат верховенства народа вышел из общины и овладел правлением" (45). Те, кто получил власть конституировать, творить конституцию, были законно избранными делегатами уже конституированных органов; они получили свой авторитет снизу, и когда они твёрдо держались римского принципа, что источником власти является народ, для них это не было фикцией, и народ не был для них абсолютом наподобие нации стоящей над всеми авторитетами и свободной от всех законов, но вполне реальной вещью, организованным множеством, власть которого осуществлялась в соответствии с законами и организовывалась ими. Настойчивое различие Американской революцией между республикой и демократией или господством большинства зиждется на радикальном разделении власти и закона, каждый из которых обладает различными источниками, различными способами легитимации и различными сферами применения.

Заслуга Американской революции состоит в том, что она сделала этот новый американский опыт в области политики и прежде всего новое американское понимание власти, достоянием гласности. Подобно идеям процветания и имущественного равенства эта новая идея власти была старше самой революции, однако, в отличие от социального и экономического благополучия Нового Света – которое могло иметь место при любых обстоятельствах и практически при любой форме правления – она едва ли выжила не будь основан новый политический организм, специально задуманный для её сохранения. Иначе говоря, без революции этот новый принцип власти остался бы неизвестен, он мог бы подвергнуться забвению или вспоминаться как своего рода курьёз, представляющий интерес для антропологов или краеведов, но не представляющий никакого интереса для искусства управления государством или политической мысли.

Власть – и для людей Американской революции такое её понимание было самоочевидным по той причине, что было воплощено во всех институтах самоуправления по всей стране – была не только старше революции, но в каком-то смысле старше даже колонизации

континента. *Mayflower Compact* ("Мейфлауэрский договор" (соглашение) был подписан 11 (05) ноября 1620-го на борту судна "Мейфлауэр", доставившем в Америку из Англии пилигримов ("отцов-пилигримов"), основавших первую постоянную колонию в Новой Англии) был составлен на борту корабля и подписан по высадке. Для нас, пожалуй, не так уж важно, хотя всё же и небезынтересно узнать, вынудила ли пилигримов заключить этот "ковенант", договор, плохая погода, помещавшая им высадиться дальше к югу в сфере юрисдикции Виргинской компании пожаловавшей им патент, или же они почувствовали необходимость "объединиться вместе" потому, что пассажиры, севшие в Лондоне, были "нежелательной компанией", ещё на корабле покушавшейся на юрисдикцию Виргинской компании и угрожавшей "взять бразды правления в собственные руки" (46). В любом случае, они явно опасались так называемого "естественного состояния", нехоженой пустыни, не имеющей никаких установленных человеком границ, равно как неограниченной инициативы людей не связанных никаким законом. В этих опасениях нет ничего удивительного; это вполне обоснованное опасение людей, решивших оставить цивилизацию и начать жизнь заново. В этой истории более всего поражает то, что их явственный страх друг перед другом сопровождался не менее явственной уверенностью, что в их собственной власти, никем не дарованной и никем не утверждённой и ещё не подкреплённой никакими средствами насилия, объединиться вместе в "*civil Body politick*" (англ.), "гражданский политический организм", который, будучи удерживаем от распада только силой взаимного обещания "в присутствии Бога и друг друга", в то же время полагался достаточно сильным, чтобы "создавать и вводить" все необходимые законы и органы управления. Этот случай быстро сделался прецедентом и когда менее чем двадцать лет спустя колонисты из Массачусетса эмигрировали в Коннектикут, они выработали свои собственные "Фундаментальные порядки" и "плантационное соглашение" в ещё неисследованной, необжитой пустыне, так что когда наконец подоспела королевская хартия чтобы объединить новые поселения в колонию Коннектикута, она санкционировала и подтвердила уже существующую систему правления. И именно по той причине, что королевская хартия от 1662-го только санкционировала Фундаментальные порядки от 1639-го, та же хартия могла быть принята практически без изменений в 1776 как "Гражданская Конституция данного Штата под исключительной властью его народа, независимого от любого короля или правителя".

Поскольку соглашения в колониях первоначально заключались безо всякой ссылки на королевскую власть, дело предстало так, как если бы революция вернула процессу заключения соглашений его первоначальный вид, какой он имел в первые дни колонизации. Уникальность североамериканских колоний, их отличие от всех других колониальных предприятий состояло в том, что только эмигранты из Британии с самого начала настаивали на том, что они конституировали себя в "гражданские политические организмы". Вдобавок, эти "политические организмы" даже не были учреждениями в собственном смысле слова; они не предполагали управления и разделения народа на управляющих и управляемых. Лучшим доказательством тому служит простой факт, что объединённый в них народ более чем на полторы сотни лет мог остаться лояльным подданным Англии. Эти новые политические организации были по сути "политическими сообществами и их значение для будущего состояло в формировании политического пространства, в котором была возможна власть и требование прав без притязания на суверенность (47). Величайшая революционная инновация – открытие Мэдисоном федеративного принципа для основания республик на больших территориях – частично основывалась на опыте, на тесном знакомстве с этими политическими институтами, внутренняя структура которых воспроизводилась в структуре республик: побуждая их составные части к беспрестанному расширению принципом которого, однако, была не экспансия и не завоевание, но исключительно комбинирование властей. И в эти ранние времена колониальной истории был открыт не только фундаментальный федеративный принцип, но и само название "федерация" в смысле "комбинации" или "косоциации"; само новое название союза, наречённого Соединёнными Штатами Америки было подсказано желанием непродолжительной Конфедерацией Новой Англии "называться именем Соединённых Колоний Новой Англии" (48). И именно этот опыт более чем какая-либо теория поощрил Мэдисона на проработку случайной ремарки Монтескьё, утвердив его в мысли, что республиканская форма правления, будучи основанной на федеративном принципе, применима для больших и растущих территорий.

Джон Дикинсон, как то раз почти случайно заметивший: "Опыт должен быть нашим единственным советчиком. Разум может увести нас по ложному пути" (50), возможно, смутно знал об этом уникальном, но теоретически неразработанном пласте американского эксперимента. Так часто указывалось, "сколько многим Америка обязана идее общественного договора" (51), что в результате без внимания был оставлен факт, что первые колонисты, задолго до революции "применившие идею на практике" на самом деле не имели ни малейшего представления о теории. Скорее наоборот, когда Локк в своём известном пассаже констатирует: "Любое политическое общество начинается и образуется не чем иным, как согласием любого числа свободных граждан располагающих большинством объединиться и присоединиться к нему", затем называет этот акт "началом любого правового государства в мире", это выглядит так словно влияние оказанное на него событиями в Америке перекрыло влияние оказанное его собственным *Treatises of Civil Government* ["Два трактата о государственном правлении", работа англ. философа Джона Локка (1690)] на самих основателей США (52). Доказательством, если в таких вопросах возможны доказательства, может служить тот любопытный и невинный способ каким Локк сконструировал свой собственный "первоначальный договор" – в духе современных ему теорий общественного договора – как передачу прав и власти правительству или сообществу, т. е. вовсе не как "взаимный" договор, но как соглашение, в котором отдельное лицо уступает свою власть государству и соглашается чтобы им управляли в обмен на протекцию его жизни и собственности (53).

Прежде чем продолжить, следует напомнить, что в теории 18-го века проводилось чёткое различие между двумя типами "общественного договора". Один был договором между отдельными лицами и предполагалось, что он даёт жизнь обществу; другой заключался между народом и его правителем и предположительно имел своим результатом правовое государство. Тем не менее, решающие различия между этими двумя разновидностями (между которыми едва ли больше общего, чем название) поначалу остались незамеченными, поскольку сами теоретики первым делом были заняты поисками универсальной теории охватывающей все формы публичных отношений, как общественных, так и политических. Тем самым две различные версии "общественного договора" которые, как мы увидим, в действительности взаимно исключают друг друга, рассматривались как аспекты единого договора распадающегося на две фазы. К тому же, с точки зрения теории, оба договора были гипотезами, призванными объяснить существующие общественные отношения, с одной стороны, и отношения между обществом и государством, с другой. И тогда как история этой теоретической гипотезы уходит своими корнями в глубокое прошлое, до колониального предприятия британцев не предоставлялось ни единого случая проверить её истинность.

В схематическом виде, основные отличия между этими двумя типами общественного договора следующие: взаимный контракт, договор, посредством которого люди объединяются вместе с тем, чтобы образовать сообщество, основан на двусторонности и предполагает равенство; его действительным содержанием выступает обещание и его результатом в самом деле является "общество" или "косоциация" в древнем римском смысле *societas* (лат.), означающем союз, альянс. Подобный альянс вбирает в себя разрозненные силы вступивших в него партнёров, объединяя их в новую властную структуру посредством "свободных и искренних обещаний" (54). В отличие от этого, в так называемом общественном договоре между уже существующим обществом и его правителем мы имеем дело с гипотетическим изначальным актом, посредством коего каждый член этого общества уступает свою изолированную силу и власть с тем, чтобы приобщиться к "благам" регулярного правления. Не приобретая новой, большей чем он имел ранее, власти, он передаёт свою власть как она есть, и не связывая себя с другими путём обещаний, он попросту выражает "согласие" быть управляемым государством, власть коего складывается из полной суммы тех сил, которые все отдельные лица ему уступили и которую оно монополизировала якобы для пользы всех подданных. В той мере в какой дело касается отдельного человека, очевидно, что он приобретает столько же власти при системе взаимных обещаний, сколько теряет при согласии на монополию её в руках государства. И наоборот, те, кто "заключает договор и объединяются вместе" теряют в силу взаимности совершённого свою первоначальную изоляцию, тогда как в первом случае именно эта изолированная обособленность гарантируется и защищается.

В то время как акт согласия не требует от каждого отдельного лица преодоления его изолированности а потому происходит только "в присутствии Бога", акт взаимного обещания по определению совершается "в присутствии друг друга"; в принципе он независим от санкции религии. Более того, политический организм образующийся в результате соглашения и "комбинации" сам становится источником власти для каждого отдельного лица, вне политического сообщества остающегося бессильным. Государство же возникающее как результат согласия стяжает монополию власти, делая своих подданных политически бессильными до тех пор, пока они не решаются вернуть свою исконную власть с тем, чтобы изменить порядок и облечь своей властью другого, лучшего правителя.

Иначе говоря, договор в котором власть конституирована путём взаимного обещания, содержит *in nuce* (в зародыше – лат.) как древний республиканский принцип *potestas in populo* (лат.), власть у народа, где "*mutual subjection*" (англ.), "взаимное подчинение" имплицитно отрицает принцип господства ("когда народ управляет, кем он управляет?"(55), так и федеративный принцип, принцип "*Commonwealth for increase*", "расширяющегося государства" (как Харрингтон нарёк свою утопическую страну *Oceana*), в соответствии с которым политические сообщества могут объединяться и вступать в долговременные союзы, не теряя своей личности. Это так же очевидно, как и то, что общественный договор требующий передачи власти государству и согласия на опеку с его стороны *in nuce* содержит как принцип абсолютизма, абсолютной монополии власти "держат всех в страхе" (Гоббс) (который, кстати, скорее всего будет сконструирован по образу божественной власти, ибо только Бог всемогущ), так и принцип национального государства, в соответствии с которым должен быть один правитель в качестве представителя нации как целого и для воплощения её общей воли.

"В начале, - как однажды заметил Локк, - весь мир был Америкой". Для теорий общественного договора Америка должна была бы служить ключом к объяснению и обоснованию существующих политических реалий; не случайно внезапному расцвету различных теорий общественного договора в первые столетия Нового времени сопутствовали и предшествовали разнообразие соглашения, объединения, "косоциации" и конфедерации в колониальной Америке. Так бы оно и было, если бы не тот неопровержимый факт, что эти теории Старого Света жили своей отдельной жизнью в полном неведении действительных событий Нового. У нас также нет никаких оснований утверждать, будто колонисты, покинув Старый Свет, унесли с собой мудрость новых теорий в поисках новой земли, где они могли испытать их и применить на практике. Эта тяга к экспериментированию наряду с сопутствующим убеждением в абсолютной новизне предпринимаемого, *novus ordo saeculorum* (новый порядок веков –лат.(см. след, главу)), столь же явным образом отсутствовали в умах колонистов, сколь явным образом они присутствовали в умах тех, кому полтора столетия спустя выпало совершить революцию. Если и было какое-то теоретическое влияние, наложившее отпечаток на договоры и соглашения ранней американской истории, то таковым, конечно же, было влияние Ветхого Завета и в особенности заново открытая идея договора между Богом и народом Израиля, которая для пуритан стала "способом объяснения почти всех отношений человека к человеку и человека к Богу". Однако, хотя быть может и верно, что "теория пуритан о происхождении церкви с согласия верующих прямо вела к популярной теории о происхождении государства с согласия подданных" (56), она не могла привести к другой, гораздо менее популярной теории о происхождении "гражданского политического организма" путём взаимных обещаний и обязательств составляющих его членов. Ибо библейский договор, как его понимали пуритане, был соглашением между Богом и Израилем в котором Бог дал закон и Израиль согласился соблюдать его; и тогда как этот договор подразумевает правление по согласию, он не коим образом не предполагает какого-либо политического органа в котором правящие и управляемые были бы равны, т. е. где более не действовал бы сам принцип господства одних над другими (57).

Как только от этих теорий и спекуляций на тему влияний мы обратимся к самим документам с их простым, безыскусным и подчас даже грубоватым языком, перед нами тотчас же предстанет само событие, событие величайшей значимости и огромной важности для будущего, отмеченное печатью времени и обстоятельств, и, тем не менее, всесторонне обдуманное и рассмотренное. Что побудило колонистов "торжественно и взаимно перед

лицом Бога и друг друга заключить соглашение и объединиться вместе в гражданский политический организм ..." и " в силу этого создавать и вводить такие справедливые и одинаковые для всех законы, ордонансы, акты, конституции и административные учреждения, которые в то или иное время будут считаться наиболее подходящими и соответствующими всеобщему благу колоний и которым мы обещаем следовать и подчиняться", были те "трудности и разочарования, которые подстерегают при осуществлении этого дела". Ясно, что колонисты ещё до того как сошли на землю, отдавали себе полный отчёт в том, что "всё это предприятие основано на общем доверии питаемом нами к верности и решимости друг друга, так что никто из нас не осмелился бы на него не будучи уверен в остальных". Не что иное, как простое и ясное осознание сути этого совместного предприятия, потребность в "лучшем ободрении для нас самих и тех, кто присоединится к нам в этом деле", послужили причиной их одержимостью идеей договора и вновь и вновь побуждали "обещать и обязаться" друг другу (58). И никакая теория, будь она теологической, политической или философской, но их собственное решение оставить Старый Свет и отважиться на беспрецедентное предприятие подвигло их на действия, итогом которых могла бы быть гибель, не открой они почти случайно то, что практически лежало перед глазами: элементарную грамматику политического действия и его несколько более сложный синтаксис, правила которых определяют взлёты и падения человеческой власти. Ни эта грамматика, ни этот синтаксис не были чем-то совершенно новым в истории Западной цивилизации; однако чтобы отыскать свидетельства равной значимости в сфере политики и язык равный по подлинности и оригинальности – а именно, столь свободный от общепринятых идиом и оборотов – во всём огромном арсенале исторических документов, следовало бы вернуться в очень далёкое прошлое, прошлое, о котором колонистам, во всяком случае, ничего не было известно (58а). Открытое ими, конечно же, не было теорией общественного договора в первой или второй форме, но скорее представляло собой несколько элементарных истин, на которых эта теория основывалась.

В целях настоящего исследования, в общем, и для нашей попытки охарактеризовать революционный дух, в частности, было бы целесообразно сделать здесь достаточно продолжительную паузу дабы попробовать перевести, пусть даже пробы ради, суть этих дореволюционных и даже доколониальных опытов на менее непосредственный, но более артикулированный язык политической мысли. В таком случае получается, что этот специфически американский опыт научил людей революции, что действие, даже хотя оно может быть начато людьми поодиночке и руководствоваться при этом они могут самыми различными мотивами, может быть доведено до конца только совместным усилием, в котором мотивация отдельных лиц – например то, являются они "нежелательной компанией" или нет – не играет более роли, а значит, не требуется и единства прошлого и происхождения, этого кардинального принципа национального государства. Совместное усилие весьма эффективно уравнивает различия как в происхождении, так и в личных качествах. Именно в этом мы можем также обнаружить и исток удивительного реализма "отцов-основателей" в отношении человеческой природы. Они могли позволить себе просто проигнорировать утверждение Французской революции о том, что человек добр вне общества, в некоем гипотетическом естественном состоянии, которое в конечном счёте было утверждением эпохи Просвещения. Они могли позволить себе реализм и даже пессимизм в данном вопросе, поскольку знали, что каковы бы не были люди в отдельности, они могут объединиться в сообщество, которое, состои оно даже из "грешников", но будь основано на верных принципах, не обязательно должно отражать эту "грешную" сторону человеческой природы. Таким образом, общественное состояние, которое для их французских коллег служило источником всего человеческого зла, для них было единственной разумной надеждой на спасение от зла и испорченности, коего люди могут достичь даже в этом мире и без какой-либо божественной помощи. В этом, к слову, можно усмотреть также подлинный источник многократно искажённого американского оптимизма, основанного на вере в совершенствование человека. До того как обыденная философия Америки пала жертвой воззрения Руссо на этот счёт – а это произошло не ранее 19-го века – американская вера не коим образом не основывалась на превдорелигиозном доверии к человеческой природе, но, наоборот, на возможности обуздания присущего человеку как изолированному индивиду зла силой общих уз и взаимных обещаний. Надежда для каждого отдельного человека заключалась в факте, что не один человек, но многие люди населяют землю и образуют мир между собой. Именно эта мирскость, мирской характер

человека, способен уберечь его от соблазнов человеческой природы. И потому сильнейшим аргументом, какой Джон Адамс мог выдвинуть против государства, вся власть в котором принадлежит одной палате, было то, что оно, по его словам было "подвержено всем тем порокам, глупостям и слабостям, что и отдельный человек" (59).

С этим тесно связано и проникновение в природу человеческой власти. В отличие от силы, являющейся даром природы, которым в различной степени обладают все отдельные индивиды, власть возникает там и в том случае, где люди объединяются вместе с целью действия, и она исчезает когда, какова бы не была причина, они расходятся и оставляют друг друга в одиночестве. Тем самым обязательства и обещания, объединения и соглашения суть способы, посредством которых власть поддерживает своё существование; где и когда людям удаётся сохранить в неприкосновенности власть зародившуюся среди них в ходе конкретного действия или дела, они уже участвуют в процессе основания; конституции, законы и институты, возводимые ими при этом жизнеспособны только в той мере, в какой они способны сохранить в себе раз возникшую власть живого действия. В человеческой способности давать и сдерживать обещания есть нечто от мироустроительной способности человека. Подобно тому, как обещания и соглашения имеют дело с будущим и обеспечивают стабильность в океане неопределённости, где непредсказуемое может ворваться в любую дверь, так и способность человека к основанию, установлению чего-то нового и другие мироустроительные способности затрагивают не столько нас самих и наше время, сколько наших "последователей" и "потомков". И как к грамматике действия относится то, что оно есть единственная человеческая способность, которая предполагает плюральность, множественность людей, так и к синтаксису власти – что она есть единственный человеческий атрибут, который приложим не к самому человеку, но исключительно к тому мирскому промежуточному пространству, посредством коего люди взаимно относятся, соединяются в акте основания путём способности давать и сдерживать обещания, которую в области политики вполне можно считать главнейшей из человеческих способностей.

Другими словами, что произошло в колониальной Америке до революции (и чего не случилось ни в одной другой части света, ни в старых странах, ни в новых колониях), говоря теоретически, это то, что совместное действие привело к образованию власти и эта власть поддерживалась в существовании заново в то время открытыми средствами взаимного обещания и ковенанта (договора). Сила этой власти, порождённой действием и сохранённой обещанием, заявила о себе когда, к великому изумлению всех великих держав, колонии, конкретно\* и провинции, районы и города, при всех различиях между собой, выиграли войну против Англии. Однако эта победа явилась сюрпризом только для Старого Света; сами колонии, имея за своими плечами полторы сотни лет заключения различных соглашений, происходили из страны, которая была организована сверху донизу – от провинций и штатов до последней сельской общины – в политические образования, каждое из которых было своего рода отдельной республикой, со своими собственными представителями "свободно избранными с согласия любящих друзей и соседей" (60); вдобавок каждое было задумано как "расширяющееся" ибо каждое основывалось на взаимных обещаниях "сожителей", как они себя называли, и когда они "соединились чтобы быть как одно Публичное Государство или Республика (*Commonwealth*)", они предназначали его не только для своего "потомства", но также для "тех, кто присоединится к ним когда-либо в последующем" (61). Люди, имевшие за своей спиной традицию, позволившую им "сказать Британии последнее "прощай"" были уверены в своём будущем с самого начала; они знали о том огромном потенциале власти, который возникает, когда люди "взаимно обязываются друг другу своими жизнями, имуществом и святой честью" (62).

Таков был опыт, на который могли опереться люди революции; он научил не только их, но и избравший и облачивший их своим доверием народ, как создать публичные органы и институты. И как таковой он не имел аналогов в любой другой части света. Однако этого не коим образом нельзя сказать об их "разуме" или, лучше, способе мышления и аргументации, по поводу коего Дикинсон питал справедливые опасения, что он способен ввести их в заблуждение. В самом деле, их разум, как по стилю, так и по содержанию был сформирован эпохой Просвещения, влияние которой было ощутимо по обе стороны

Атлантики. Их понятийный аппарат навряд ли отличался от того, какой использовали их французские и английские коллеги, и когда между ними и европейцами возникали разногласия, дискуссия велась в привычной системе категорий. Так, Джефферсон мог говорить о "согласии" народа из которого правительство "заимствуют свою справедливую власть" в той же самой Декларации, которую он заключает принципом взаимных обязательств; причём ни он, ни кто-либо иной не подозревал об элементарном и очевидном различии между "согласием" и взаимным обещанием, так же как и между двумя типами теорий общественного договора. Этот недостаток понятийной чёткости в обозначении реалий и опытов был бичом Западной истории с тех пор, как по завершению эпохи Перикла люди действия и люди мысли разделились, и мышление принялось полностью эмансипировать себя от реальности, в особенности, от политической эмпирии и опыта. Одно из основных упований Нового времени и его революций состояло в том, что этот разрыв удастся преодолеть; одна из причин, почему его так до сих пор не удалось осуществить, почему, словами Токвиля, даже Новый Свет не смог создать новой политической науки, заключается в необычайной живучести нашей традиции мысли, пережившей все ревизии и переоценки ценностей, посредством которых мыслители 19-го века пытались её подорвать и разрушить.

Как бы то ни было, Американская революция в любом случае опиралась на опыт, а не на теоретические спекуляции. Опыт научил колонистов, что хартии короля и патенты компаний не учреждали или основывали их "*commonwealth*", но скорее подтверждали и легализовывали уже существующие; что они подчинялись только тем "законам, которые они приняли при их первом поселении или же тем, которые были позднее приняты соответствующими законодательными собраниями"; и что их права и свободы были в первую очередь "подтверждены политическими конституциями, которые они приняли" и только во вторую "различными хартиями от Короны" (63). Да, конечно, "колониальные теоретики много написали о британской конституции, правах англичан и даже естественных законах, и тем самым приняли британскую посылку, в соответствии с которой колониальные правительства производят свою легитимность от британских хартий и поручений" (64). И всё же во всех этих теориях обращает на себя внимание характерное понимание, или скорее непонимание, британской конституции как фундаментального закона, способного ограничить законодательную власть Парламента. Оно объясняется интерпретацией британской конституции с точки зрения американских договоров и соглашений, которые и были по сути таким "фундаментальным законом", таким "непреклонным" авторитетом, "рамками", которые даже верховная законодательная власть не могла "преступить ... не разрушив своего основания". Именно твёрдая вера американцев в собственные договоры и соглашения позволяла им апеллировать к британской конституции и их "конституционному праву" "совершенно независимо от принятия во внимание прав пожалованных хартией". Тем самым уже не столь важно, что они, следуя моде того времени, утверждали, будто это право является "неотъемлемым, естественным правом", так как для них, во всяком случае, это право стало законом только потому, что они считали его "присущим британской конституции в качестве её фундаментального закона" (65).

И опять-таки, опыт преподавал колонистам урок на тему природы человеческой власти, достаточный для того, чтобы, отталкиваясь от в принципе терпимых злоупотреблений властью со стороны конкретного короля, прийти к выводу, что монархия как таковая представляет форму правления недостойную свободных людей, и что "Американская республика ... есть единственная форма правления, которую мы желаем видеть установленной; ибо мы никогда не сможем добровольно подчиниться другому королю, кроме такого, который, обладая бесконечной мудростью, добротой и честностью, единственно достоин неограниченной власти" (66). И это в то время, когда колониальные теоретики ещё вели пространные дебаты на тему достоинств и недостатков различных форм правления – так, словно этот вопрос не был давно решён. Наконец, именно опыт – "совокупная мудрость Северной Америки ... собранная в едином конгрессе" (67) – более нежели любая теория или доктрина научил людей революции подлинному пониманию *potestas in populo* римлян, тому, что власть принадлежит народу. Они знали, что этот римский принцип власти способен к созданию формы правления только будучи дополнен другой римской формулой *auctoritas in senatu* (лат.), авторитет у сената – из чего помимо

прочего вытекает, что власть и авторитет не одно и то же, что государство нуждается и в том, и другом - *senatus populusque Romanus* [сенат и римский народ – лат.; формула записываемая аббревиатурой S. P. Q. R. примеч. наше - И. К.] – как гласит римская формула, объединившая власть и авторитет. Королевские хартии и лояльность колоний королю и английскому парламенту обеспечивали власть американского народа дополнительной поддержкой авторитета. Этот источник авторитета был утрачен с провозглашением колониями своей независимости, так что главной проблемой Американской революции оказалось не только установление новой системы власти, но и одновременно с этим поиск нового источника авторитета, который мог бы оказать этой власти дополнительную поддержку.